

«Я часто понимал религию на свой лад,
но никогда не жил без религии»

1 Множить конкретные примеры гениальной и всесторонней автодидактики Руссо более ни к чему, а размышлять о личности Руссо в сопоставлении с его трактатами и общими теориями я не собираюсь (хотя нельзя будет в дальнейшем совсем уклониться от этого и не выйти за пределы «Исповеди» и т. п.).

Остается здесь только вкратце уяснить себе отношение Руссо к религии. Об этом, разумеется, тоже очень много писали¹¹.

Оно очень и очень непростое. (с. 203).

Отец его и тетки были глубоко набожными протестантами. «Каждому, я думаю, понятно, что для ребенка и даже для взрослого иметь религию – значит следовать той, в которой он родился Догматическая вера есть результат воспитания. По этому общему правилу я был привязан к вере моих отцов, а кроме того, питал в то время характерное для нашего города отвращение к католицизму...» (с. 60). Впрочем, всякие вкусности, которые можно было отведать у знакомого священника-католика в окрестностях Женевы, в совокупности с его приветливостью произвели впечатление на маленького Руссо: «Вот почему я стал легко относиться ко всему этому» (Там же).

Это первое упоминание в «Исповеди» о религии.

А вот что он пишет значительно ниже: «...Я произ-

носил свою молитву, заключающуюся не в бессмысленном бормотании, а в искреннем возношении сердца к творцу милой природы. <...>. Я никогда не любил молиться в комнате, мне кажется, стены и все эти жалкие изделия человеческих рук становятся между господом и мною. Я люблю созерцать бога в его творениях, когда сердце мое возносится к нему ... Впрочем, молитва моя состояла больше в восторгах и созерцании, чем в просьбах...» (с. 210).

Это необычная молитва, это молитва Руссо.

Что же стоит между легкой детской безотчетностью и зрелой, обдуманной, хотя и весьма своеобразной, набожностью?

Многое.

2 Во-первых, это переход Жан-Жака из протестантизма в католицизм после юношеского обоснования в Савойе, разумеется, католической. Не сразу и не без колебаний, но так было удобней, да и маменька тоже была новообращенной и благочестивой католичкой.

А в зрелые годы – это обратный, гораздо более редкостный, переход из католицизма в отечественный кальвинизм, когда Руссо пришлось из-за нападок церкви и боязни ареста спешно покинуть Францию и опять поселиться в Швейцарии (сперва по милости принца Конде, а позже в тамошних швейцарских владениях Фридриха Второго, короля Пруссии – в Невшателе). Тут колебаний и опасений было куда больше. Но причиной, облегчавшей эту смену церквей, было полное равнодушие к обрядовой и догматической подкладке обеих разновидностей христианства. А также «отвращение к теологии» (с. 90), хотя Жан-Жак и в ней успел в некоторой мере поднатореть (с. 62–63).

Чего стоит одна лишь едкая острота, от которой Руссо не удержался в совсем инородном контексте, говоря о своих

болезнях и врачах. «В противоположность богословам, врачи и философы признают истиной лишь то, что они могут объяснить...» (с. 229).

И, конечно, прагматическое, житейское удобство. Существовать приходилось во внешнем ладу со способом веровать, принятым в окружающей социальной среде. То есть тут действовал тот же компромиссный принцип, что и при отдаении детей в приют. Ср. ниже – чрезвычайно прямое и обстоятельное разъяснение этого принципа (с. 342).

Во-вторых, резко отличая религию от церкви, будучи, так сказать, пассивным антиклерикалом, отвергая «общераспространенное христианство» (притом Жан-Жак считал себя христианином), он отстранялся от конкретного догматического и обрядового наполнения веры в Бога. Он писал:

Вообще говоря, верующие делают бога таким, каковы они сами: добрые люди делают его добрым, злые – злым, полные ненависти и желчи, ханжи не видят ничего, кроме ада, потому что им хотелось бы всех осудить на вечную муку, добрые и любящие души совсем не верят в ад (...) Епископ Фенелон говорит об аде так, как будто он на самом деле верит в него, но человек вынужден иногда кривить душой, если он епископ. Маменька не лгала мне, ее незлобивая душа не могла себе представить бога мстительным и вечно гневным, и она видела одно милосердие и благодать там, где ханжи усматривают только правосудие и наказание (...) Самым странным было то, что, не веря в ад, она тем не менее верила в чистилище, так как не знала, куда девать души злых (...) И надо признать, что в самом деле злые и на том и на этом свете всегда доставляют много хлопот.

Хорошо сказано, не правда ли.

Вот и пойми, что думал этот то восторженный, то ироничный Руссо о возможности загробного существования в целом...

3 Думал он, еще молоденький Жан-Жак, тогда, впрочем, следующее. Он вспоминает.

Я спрашивал себя: <...> Если сейчас я умру, буду ли я осужден? <...> Однажды я кидал камни в стволы деревьев, делая это с присущей мне ловкостью, т. е. почти никогда не попадая. За этим прекрасным занятием мне пришла в голову мысль сделать из него нечто вроде гадания, чтобы успокоить свое волнение. Я сказал себе: «Брошу камень вон в то дерево напротив; если попаду – это будет означать спасение, если промахнусь – осуждение». Подумав это, я дрожащей рукой и с бьющимся сердцем кидаю камень, да так удачно, что он попадает в самое дерево; правда, это было нетрудно, так как я постарался выбрать дерево потолще и поближе. Но с тех пор я больше не сомневался в своем спасении. Вспоминая этот случай, я не знаю, смеяться мне над собой или плакать. А вы, великие люди, конечно, подымете меня на смех, но, радуясь своему превосходству, не издевайтесь над моей жалкой слабостью, потому что, клянусь вам, я отлично ее сознаю (с. 216).

Кажется, он попросту подшучивает над этим эпизодом, над собой и над нами?

Далее Руссо сообщает, что эти «волнения и тревоги, быть может, связанные с благочестием, не были постоянным моим состоянием. Обычно я был довольно спокоен, и мысль о близкой смерти наполняла мою душу не столько скорбью, сколько тихой грустью, не лишенной даже своеобразной прелести». И еще ниже – о счастливейших летних днях, проведенных вместе с «маменькой» в деревне, о «радости простых удовольствий» («к которым светские люди... давно потеряли вкус»).

Недавно прошел дождь, пыли не было, быстро бежали ручьи. Свежий ветерок колыхал листву, воздух был

чист, небосклон безоблачен. <...> Мы устроили ужин у одного крестьянина, разделив его со всей его семьей, и они благословляли нас от чистого сердца. Эти бедные савояры такие хорошие люди! (с. 217).

Так что же все-таки думал о вечном спасении Жан-Жак? Бог вещь... Мы опять лучше узнали его. Но об этом – так ничего окончательного пока не услышали.

Услышим, впрочем, несколько позже, в чрезвычайно обстоятельном письме к Вольтеру от 18 августа 1756 г. Руссо тогда было уже сорок четыре года. И, конечно, узнаем из трактата «Исповедание веры савойского викария».

«Все ухищрения метафизики не заставят меня хоть на минуту усомниться в бессмертии души и в благожелательности Провидения. Я так чувствую, я в это верю, я *этого хочу*, я на это надеюсь, я буду стоять на этом до последнего вздоха...» Так Руссо заключал послание в Ферней. (Lettres, p. 89).

Он все додумал или, точнее, перечувствовал, как мог. И больше в этом отношении не менялся. Он боялся безнадёжности смерти. Как говорит персонаж фильма Беллы Тара «Проклятие», «истинный конец бесконечен».

4 Как я уже предупредил, в мои намерения не входит логико-философский анализ каких бы то ни было сторон теоретических взглядов Руссо. Это относится, разумеется, и к его теологическим и метафизическим концепциям. Поэтому я должен уклониться от разбора и реконструкции всей последовательной линии рассуждений послания к Вольтеру, – резкого, однако уважительного и «академического» по тону. Это еще не формальный разрыв отношений, но отчаянная попытка объясниться в последний раз – и преддверие разрыва.

Я всего лишь воспользуюсь логически сбивчивой, но экзистенциально безоглядно распахнутой и цельной подоплекой мыслей Руссо, – так сказать, логикой его эмоций.

Это отклик на поэму Вольтера «Poème sur désastre de Lisbonne, ou examen de set axiome "Tout est bien"».

Он начинается, естественно, с проблемы теодицеи и «благого Божьего Провидения». Тезис «Все во благо», взятый Вольтером в иронические кавычки и категорически отвергаемый, Руссо пытается защитить. «Оптимизм» по подобному страшному поводу Вольтер считает «жестоким», Руссо же, напротив, утешительным, а поэму Вольтера обесиливающей человеческий дух. Таким образом, с первого шага Руссо исходит из эмоционального состояния души перед лицом зла и несчастий, а не из объективного положения вещей. Соответственно Вольтер высмеивает веру в Провидение, Руссо с жаром ее отстаивает. Его доводы в основном софистичны и легковесны, хотя главный из них не лишен неожиданности и остроумия.

Если источник моральных страданий можно искать лишь в самом человеке, «свободном и способном совершенствоваться, но склонным и к развращению, то в том, что касается физических мук, если материя и уязвима, и бесстрашна – что мне кажется противоречием – *то муки неизбежны в любой системе, частью которой является человек*; и тогда вопрос состоит не в том, почему он не безупречно счастлив, но в том, *почему он [вообще] существует*» (р. 75). Так или иначе, все-таки лучше быть, чем не быть, и Руссо призывает на помощь Цицерона («О старости»): «Я не жалею, что жил, потому что я жил таким образом, что не считаю свою жизнь напрасной» (р. 78).

Далее Руссо вступает в дискуссию относительно того, насколько точно могут быть пригнаны друг к другу отдельные части и конфигурации внутри земли и что в итоге могло бы послужить причиной их расхождения и землетрясения. Он соглашается, что части внутри земли вряд ли при-

гнаны и сходятся с математической точностью, но считает, что эти «предполагаемые неровности (*ces irrégularités*) являются, несомненно, следствием неких законов, которые нам неизвестны; между тем природа совершенно точно действует согласно тем из них, которые нам известны, но также и согласно тем, о которых мы ничего не знаем. Действия последних мы не замечаем, равно и препятствия и соразмерности, связанные со всеми соответствующими операциями; иначе пришлось бы сказать, что бывают действия без начал и результаты без причин, чего не признала бы ни одна философия» (р. 78–79).

Итак, Руссо полагает – что землетрясения результат неведомых нам, но чисто физических законов. Сдвигающиеся с места камни могут быть ничтожно маленькими, даже невидимыми для нас, но крайне многочисленными. Руссо даже пишет о «*peut-être, un million d'autres lois possibles*, может быть, миллионе возможных других законов»!) Тем не менее природа воспринимает их смещения с присущей ей точностью. Совокупность таких законов и движений приводит к загадочным и необъяснимым для нас результатам (р. 82).

Далее отвлеченные, но провидческие предположения Руссо приводят его к неизбежно произвольному, но неожиданному парадоксу.

Вне сомнений, эта материальная вселенная не должна быть дороже своему создателю, чем одно-единственное мыслящее и чувствующее существо на ней, но если система подобных вселенных ... населена, что вполне возможно, то почему я в Его глазах должен стоять больше, чем все обитатели Сатурна?

Божья благодать расширяется вместе с возрастанием числа мыслящих существ. Если в циркуляции планет, «в системе этих вселенных», для сохранения человеческого рода требуется обмен субстанций между людьми, животными и растениями, то смерть и разложение отдельного чело-

века становятся условием сохранения человеческого рода в целом. Нельзя отвергать частное зло индивида, если оно необходимо, чтобы избежать гораздо большего зла. «Я умираю, меня пожирают черви, но мои дети, мои братья будут жить, как жил я, мой труп обогатит землю, творения которой они будут потреблять (...)». Чем говорить «все во благо» (над чем смеется Вольтер), лучше бы выразиться так: «все во благо ради всего». Сказать что-либо доказательное тут сверх человеческих сил, ибо нам неизвестны ни истинное строение Вселенной, ни цели его создателя. *Не следует примешивать Божью волю к любым природным вещам, как это делают священники. Пусть эти познаваемые нами вещи остаются в ведении физиков.*

Хорошо, если бы все нынче касающиеся этого предмета настроенные набожно или экстрасенсорно люди были бы в состоянии думать с такими же умными и звучащими почти современно ограничениями.

Но Руссо знал только естествознание своего века – и веровал.

Поэтому: за пределами известного остается полагаться на Бога.

Разум может сомневаться в его существовании, Руссо отвергает фанатизм и нетерпимость, более того, он признает, что в споре теистов и атеистов нет окончательных и бесповоротных рациональных решений («les objections de part et d'autre sont toujours insolubles»)! Тем самым он оказывается, по существу, на краю бессмысленного, с моей точки зрения, срыва в позднейший агностицизм, который я считаю довольно жалким колебанием между разумным знанием и эмоциями. Ниже я попытаюсь в нескольких словах объяснить, почему немыслимость высшего разума Вселенной обрела строго научное подтверждение особенно в последние два-три десятилетия.

Но выход все же у Жан-Жака находится – притом всецело и характерно руссоистский.

Его решение коренится в сугубо личном душевном тяготении и выборе. Вообще рациональные соображения не имеют силы, когда речь идет о том, что нельзя измерить, когда мы принимаемся спорить о *бесконечности*. «То, что я называю доказательством, основанном на чувстве, *preuve de sentiment*, другие могут назвать предрассудками...». Обе точки зрения могут быть правильными или ошибочными, *поэтому спорить не нужно*. «Ведь я выдвигаю свое убеждение как *une invincible disposition de mon âme*, *неколебимое состояние [только] моей души*, и у меня нет резонов, чтобы сказать другому человеку: “Вы должны веровать таким-то образом, потому что так верую я...”. Верить или не верить это вещи светские, которые в некоторой мере зависят только от меня. Состояние сомнения слишком тягостно для моей души...» (р. 85)...

Это и есть последнее и замечательно глубокое слово Руссо по самой главной теме на свете.

Таким образом, перебрав всякого рода доводы «физического» порядка, Жан-Жак не в силах, разумеется, пойти дальше спорных и воображаемых тезисов. Он вполне отдает себе в этом отчет. И он обращается к привычному для него отправному пункту.

Все дело в *индивидуальном решении*. Мысль о вечном бессмертии души несравненно *утешительней* для него лично. (То же самое в «Исповедании веры»). Думать иное было бы нестерпимо. Хотя между «обеими позициями, “*ni vtaï, ni faux*”, ни истинными, ни ложными», Руссо избирает по моральным и психологическим основаниям то, что ближе именно его сердцу – веру в Провидение и в личное спасение.

«Нет, я слишком страдал в этой жизни, чтобы не ожидать другой. Все ухищрения метафизики не принудят меня хоть на мгновение усомниться в бессмертии души и в благодеяниях Провидения. Я это чувствую, я в это верю, я этого хочу, я на это надеюсь, я буду отстаивать это до последнего вздоха...» (р. 89). Философы считают, что главная

опора это разум, а он, Руссо, таковой считает воображение и жизнь сердца.

В «Исповедании веры» Руссо пишет: «Я вижу Бога повсюду в его творениях, я его чувствую в себе, я его вижу во всем вокруг меня; но как только я хочу созерцать его непосредственно, как только я хочу разыскать его самого, где он находится и что он такое, какова его субстанция, он от меня ускользает и моя взволнованная душа больше ничего не видит». (Как мы увидим ниже, есть исследователи, которые усматривают в этой простой и точной констатации признак психического расстройства Ж. Ж.)

Между тем, по сути, это даже не противоречит христианской догматике, Бог непостижим для человека, неисповедимы пути Господни, мистически таинственна Троица, и т. п. Только у Руссо все окрашивается личной интонацией. *«Все, что называют бесконечным, для меня непостижимо. Проникнувшись своей недостаточностью, я никогда не рассуждаю о природе Бога, я основываюсь на чувстве его связи со мной»* (р. 207).

Как пишут в интернетовских сетях, «мне это нравится».

Современная наука соприкасается с тезисом Руссо и даже с церковным учением, и это забавно, потому что наука не может вопрошать о чем бы то ни было «зачем»? С чего это мир устроен (в пределах уже точно известного) именно так? Зачем, скажем, существуют атомы, их начинка и строение. Или зачем (а не «как») на этой маленькой планете появились сознание и мышление. То есть мы. Простите за элементарный уровень этого абзаца.

Из чего же исходить? Жан-Жаку это, видите ли, известно. Из некоего «внутреннего света» *в себе*. Тогда, «по крайней мере, мое заблуждение будет именно моим, *du moins mon erreur sera la mienne*» (Confession de foi..., р. 61). А «внутренний свет» у иных людей и культурных максим может быть и совсем несходным. Но это другой разговор.

5 Возвращаясь к чтению «Исповеди»... «Ей [маменьке] казалось, что Священное писание обычно толкуют слишком буквально и слишком грубо... Даже в распятии и воскрешении Христа она усматривала только иносказание...» А как же тогда, не без язвительности, спрашивает Руссо, с грехопадением? Надо бы быть последовательной. «Одним словом, верная избранной ей религии, она искренне признавала весь символ веры, но как только дело доходило до обсуждения отдельных догматов, обнаруживалось, что она верит совсем не так, как церковь, хотя и подчинялась ей во всем» (выше и здесь с. 204). Любящий Руссо объясняет это ее простосердечием при полном неумении видеть логические противоречия. И прибавляет, что, если бы христианской морали вовсе не существовало, маменька вела бы себя точно так же, в соответствии со своим характером.

Руссо кое в чем был, разумеется, с ней теоретически согласен. Но в остальном предпочитал молчать и не спорить. Он обычно – до известного момента – не бросал лобовых публичных вызовов церкви, как, между прочим, и властям. Так, Руссо объясняет, почему он не решился поддерживать известного смелого критика властей аббата и графа Сен-Пьера: «Я знал, что, живя одиноко среди людей, к тому же более могущественных, чем я, при всех своих стараниях не смогу оградить себя от зла, которое они пожелают мне причинить» (с. 369).

Сказано откровенно.

Но «подчиняться во всем» ни церкви, ни кому бы то ни было или чему бы то ни было Жан-Жак все же не умел и не хотел, и совершенно выпадал из принятой официальной, а иногда и из просветительской идеологии и среды.

Напоминаю, что Руссо желал публикации «Исповеди» только после 1800 г., т. е. когда уже не останутся в живых ни он сам, ни упомянутые в ней лица. Однако он не удержался тем не менее от зачитания некоторых фрагментов

узкому кругу знакомых. Но чтения, как и публикация, тут же были запрещены, и Жан-Жак вернулся к своему первоначальному благоразумному намерению.

Правда, Тереза («тупая» Тереза!) сделала это заметно раньше, чем он желал, в 1794 г., притом торжественно, в Конвенте, т. е. революционном парижском парламенте, в библиотеке которого рукопись и хранится до сих пор. А предыдущая и лучшая печатная версия вышла в свет в Женеве в 1783–1789 гг. Еще раньше, чем в Париже, но все же тоже после его кончины.

Добавим, что прах Руссо был перенесен в Пантеон почти одновременно с останками Вольтера. Вряд ли они оба, будь живы, пришли бы от этого в восторг.

Однако позднее останки Руссо исчезли оттуда, и неизвестно, где они находятся, кто и зачем это сделал. Трудно удержаться, чтобы не придать этому символического значения. Судьба Жан-Жака возжелала быть последовательной и обрекла его на скитания и бессмысленную загадочность даже после кончины. Уж не бродит ли его беспокойная душа и поныне между нами, заглядывая в глаза читателям?

6 В нередких суждениях насчет «самоапологии» Руссо то, что он рассказывал «каким он был» не современникам, а потомкам, не очень принимается в расчет. Да, он стремился, в частности, противопоставить «Исповедь» многочисленным кривотолкам и злословию о нем. Одной из важных целей работы действительно была внушенная болезненными обидами, вполне обоснованными или иногда нет, защита особенно от тех, кто считал его неловким глупцом и путаником. Он и сам нередко признается, что бывал в общении зажат, неуклюж и ненаходчив, оказываясь *непохожим на самого себя*, на «действительного Руссо». Он сознавал некоторые труднообъяснимые (для него тоже!)

противоречия его своеобразного характера. Он хотел бы ответить на несправедливые мнения и разъяснить – прежде всего, самому себе – внутренние причины своего странного поведения.

«Я обещал написать исповедь, а не самооправдание Мое дело – говорить правду, дело читателя – быть справедливым. Я больше ничего не требую от него» (с. 312).

По мне, это отнюдь не самолюбивая апологетическая полемика, в чем его нередко упрекали исследователи, хотя и, слава богу, не все¹².

Это неверно – хотя бы по фундаментальному замыслу полной, небывалой правдивости, принципиально включавшей неожиданные унижительные саморазоблачения о неизвестных никому, кроме него, вещах; и в силу того, что знакомство с его самооценками и окончательный приговор были предоставлены им только потомкам.

Добавлю, что, как ни странно, некоторые потомки продолжают злословить до сих пор. С одним из них еще предстоит поспорить.

Руссо был на фоне Франции середины XVIII века и даже среди более или менее близких ему по мировоззрению людей, среди энциклопедистов, все-таки сам по себе. Это ясно сказывалось и в его необычных социально-исторических идеях, и в его поведении, и даже в том, как просто, на деревенский лад, он предпочитал есть, одеваться и устраивать свой быт.

Он выпадал из любого круга.

Он очень-очень желал – до поры до времени – карьеры и богатства. Ему сперва с непривычки льстил ошеломительный успех в высшем свете. Однако Руссо не в состоянии был согласовать свою натуру и *убеждения* с внешними правилами социального успеха.

Мгновенные переводы его сочинений от Англии до России, всеевропейская слава пришли, а социальная устойчивость и бытовое благополучие, успокоенность, достаток – нет. Несоответствие лишь стало более явным и задевающим.

7 Я уже писал о том, что многие его комплексы носили какой-то возбужденный характер. Он был с любопытством и любезностью принят в парижских салонах, уже сошелся с Дидро и Гриммом, но ведь до апреля 1751 г. у него не было никаких серьезных словесных публикаций, т. е. почти до 40 лет! Да, он сочинял музыку, написал малоизвестные стихи и пьесу, ну и что же? Он был никем. Когда же благодаря Дижонской премии ситуация мгновенно изменилась, вряд ли случайно почти сразу вслед за этим, в конце 1750-х годов, начались губительные сложности в отношениях с его просвещенной средой.

Руссо, прославившись, считал, что теперь-то он вправе жить, как ему нравится: «Я – другой».

Отсюда, а не только в силу тех или иных особенностей его невротической психики или его историко-политических теорий все выпады вчерашних друзей, и наиболее травмирующие ссоры, и вечная личная и общественная неустроенность этого пожизненного плебея, несмотря на признаваемые почти всеми (кроме, конечно, Вольтера) талант и славу. Они были неизбежны исторически и социально. Если власти светские и церковные гневались на идеи «Эмиля» и «Общественного договора», то друзей и «хорошее общество» возмущала, начиная со времен «Эрмитажа», его *манера жить*.

«Естественная религия» Руссо сводилась к сентиментальной и предельно напряженной нравственности, впрочем, с неизбежными срывами, она во всемирно-историческом контексте, наверно, может быть кое в чем сопоставима с верой Льва Толстого. Или даже с протестантской теологией «после Освенцима»? Это была странная и очень индивидуальная вера, вне церквей и обрядности, глубоко и осознанно иррациональная, однако с рациональным презрением к *любой* догматике и нетерпимости, что у церковников, что у атеистов.

Не собираясь изучать сложную и противоречивую теологию Руссо, отмечу только на основе хотя бы любопыт-

нейшего «Исповедания веры савойского викария» некоторые далеко забегающие вперед пункты.

Во-первых, нечто вроде экуменизма Жан Жака, – нет, нет, идей, заходящих куда дальше экуменизма. Христианские верования неизвестны человечеству на нескольких материках, от Америки до Японии, и прежде чем судить о том, что христианство является единственной истинной религией, нужно тщательно изучить все другие религии, дабы основательно судить о сходстве и различиях между ними. «Я хочу проделать это самостоятельно». Ни один способ верить не должен быть отвергнут а priori. «... Если хорошо, что сыновья Христианина следуют без глубокого и беспристрастного анализа, религии своего отца, то почему сыновья Турка поступают плохо, если точно так же следуют религии своего отца?». Я должен *«examiner tout par moi-même, изучить все сам лично»*.

Более того, религия вообще не нуждается в культе, т. е. в церкви и догмах. Каждый должен верить по-своему, доверяясь лишь своему сердцу.

«Если бы я оказался единственным человеком на пустынном острове ... если бы я ничего не знал о том, что произошло в древности в некоем уголке мира, если бы я притом употребил свой разум ... и все непосредственные способности, которыми наделил меня Бог, я сам бы (de moi-même) сумел понять его, полюбить его и его творения». Споры о существовании Бога бессмысленны. Никакие книги вокруг Писания не нужны, все эти споры и комментарии к комментариям. «О, сколько людей [стоит] между Богом и мною» (*Que des hommes entre Dieu et moi* (Confession de foi..., p. 223, 305, 323, 389–377–389 etc.). Знаменитая фраза!

Причем в молодости неортодоксальность не мешала ему с огромным уважением сходить и беседовать с некоторыми умными и сердечными прелатами. А в иные периоды, хотя бы из привязанности к «маменьке», ходить в церковь.

«Евангелие полно невероятных вещей, противных разуму, которые не может принять и допустить ни один живой человек. Что делать с этими противоречиями? Быть всегда сдержанным и осмотрительным и, дитя мое, молча уважать то, что нельзя ни отвергнуть, ни понять, и склониться перед великим Бытием, которое одно знает истину» (Confession de foi..., p. 413–415). Мы опять слышим Руссо-конформиста. Но главное здесь слово – «молча» и далее. И это, на мой взгляд, было потрясающе ново и глубоко. И далеко не всеми усвоено в ХХI веке. «Склониться перед великим Бытием».

Добавлю вскользь, что никогда астрофизика и космология не постигнут Вселенную или теперь, возможно, Вселенные *до конца и полностью*. Естственники, мыслящие также и метафизически, это, уверен, понимают куда лучше гуманитариев, не размышляющих над такими отвлеченными вопросами (вроде перемен во всемирности характера истории). И считающих достойным только исследование конкретного и частного предмета. Это или замечательно необходимые для науки и талантливые работники или (и) люди с узким кругозором.

Скажу совсем лишнее: часто это просто люди, пусть способные и прилежные, но неталантливые и скучные.

А в естествознании будет бешено и без завершения век развиваться *процесс* постижения.

Вернемся к нашему герою и к приведенной очередной выписке. Итак, не плоское отрицание бога, но апелляция к неведомому нам бесконечному Бытию. Не мистицизм и не агностицизм, а своего рода логическое примечание к сугубо сердечной набожности.

С годами вера Жан-Жака в Провидение и загробную жизнь укрепились. Но – как мы видим – совершенно мимо теологии, на сугубо экзистенциальной основе, при самоуг-

лублении в свою необычную и страдальческую, как он справедливо ощущал, судьбу.

При возвращении к женевскому кальвинизму Руссо счел необходимым объяснить в «Исповеди» относительно своей религиозности еще раз. И опять – судите, впрочем, сами – потрясающе. Но и прагматично. В очередной раз обозначается неизбежное противоречие между умственной устремленностью и житейской вынужденностью.

Я думал, что поскольку Евангелие одинаково для всех христиан, а в сущности догмы различаются лишь попытками объяснить то, чего нельзя понять, в каждой стране лишь верховной власти принадлежит право определять и культ, и эту непостижимую догму ... Частое общение с энциклопедистами не только не поколебало моей веры, но еще более укрепило ее, благодаря свойственному мне отвращению к спорам и группам. Изучение человека и вселенной показало мне во всем конечные причины и разум, ими управляющий. Чтение библии и особенно евангелия, которым я прилежно занимался последние годы, внушило презрение к низким и глупым толкованиям учения Иисуса Христа со стороны людей, менее всего достойных понимать его. Словом, философия, привязав меня к сущности религии, отвратила меня от груды мелких, убогих формул, которыми люди опутали ее. Полагая, что для человека разумного нет двух способов стать христианином, я считал также, что все относящееся к форме и дисциплине в каждой стране зависит от законов. Из этого принципа, столь разумного, столь общественного, столь мирного и навлекшего на меня столь жестокие преследования, я сделал вывод, что, желая быть гражданином своей страны, я должен вернуться к культу, установленному в ней ... (с. 342).